

л е г е н д ы о т т е п е л и

Л Е Г Е Н Д Ы О Т Т Е П Е Л И

СЕДАЯ НИТЬ

Владимир
Алейников



РИПОЛ
КЛАССИК

УДК 821.161.1
ББК 84(2Рос=Рус)6-44
А45

Алейников, В.

А45 Седая нить / В. Алейников. — М. : РИПОЛ классик.
— 480 с. — (Легенды оттепели).

ISBN 978-5-519-65260-5

Владимир Алейников — человек-легенда. Основатель поэтического содружества СМОГ (Смелость, Мысль, Образ, Глубина), объединившего молодых контркультурных авторов застойных шестидесятых, отказавшихся подчиняться диктату советского государства.

Алейников близко знал Довлатова, Холина, Сапгира, Веничку Ерофеева, причем не только как творческих личностей, но как обычных людей с проблемами и радостями, понятными многим... Встречи с ними и легли в основу этой мемуарной книги.

УДК 821.161.1
ББК 84(2Рос=Рус)6-44

© Алейников В. Д., текст, 2016
© Издание, оформление.
ООО Группа Компаний
«РИПОЛ классик», 2016

ISBN 978-5-519-65260-5

...Сам не знаю — зачем это вспомнилось.

Мы с Довлатовым шли вдвоём по безлюдным предутренним улицам, сквозь осенний, меланхоличный, как и наше с ним состояние, непрерывный, расплёснутый по ветру, шелест жёлтой и алой листвы, шли устало и молчаливо, неизвестно куда и зачем, но, скорее всего, в пространство, потому что в нём было нечто, нам дающее проблеск надежды, если даже и не на чудо, то, по крайней мере, на скромное, но такое, чтоб нас обрадовать или даже вдруг окрылить, пусть и малое, даже крохотное, но тем более дорогое, настоящее волшебство, шли с трудом, но зато упрямо, вдоль деревьев и мимо храма, шли, не выпив ещё ни грамма, словно были за гранью драмы, разыгравшейся в синева над слоистой мглой, в Москве.

Довлатов приехал ко мне осенью семьдесят второго до того неожиданно, что без всяких лишних слов и никому не нужных объяснений стало мне ясно: порыв этот, искренний и отчаянный, а может быть, даже побег — из Питера, из кошмара, своего, незаёмного, давнего, из круга, пусть и не замкнутого, но очерченного жестоко и магического, пожалуй, потому что внутри него всё трудней дышалось ему, и душа всё чаще болела, и хотелось просто на волю, вдаль, вперёд, и куда

угодно, лишь бы вырваться поскорее за черту, оказаться в дороге, чей синоним, чьё имя другое, и важнейшее, это жизнь, — порыв этот, повторяю и подчёркиваю, похожий на прорыв к самому себе, и оправдан, и не случаен.

Был Сергей настолько измотан, что я тут же, мгновенно, понял: надо его спасать.

В прежние, сложные годы, с их постоянными вывертами, подвохами, непредсказуемыми событиями и снегом на голову сваливавшимися происшествиями, которые приходилось то и дело расхлёбывать, с их реальной опасностью для любого из нас, не похожих на обычных советских людей, с их коварством, подлянкой и злобой, на любом буквально шагу, да ещё по причине общих расхождений наших с действительностью, мы, люди тогдашней богемы, испытавшие всё, что положено было нам испытать из несладкого, а порой откровенно губительного, на износ, на излом, на прочность, на авось, на собственной шкуре, слишком ясно осознавали, что такое — спасти человека.

Я поселил его у себя.

Квартира была однокомнатной и находилась на четвёртом этаже, — не слишком низко, чтобы снаружи посторонние люди всякие, кагэбэшники или менты, отчётливо, как на ладони, запросто видеть могли, что происходит внутри, и не очень высоко, чтобы, при необходимости, если, допустим, лифт не работает или ещё по какой-нибудь важной причине, быстрым шагом подняться по лестнице и сразу же позвонить условным, известным считаным друзьям, особым звонком, чтобы скорее впустили, или своим ключом, если я выдавал его кому-нибудь, дверь открыть и войти в тесную прихожей.

Дом был кирпичный, светло-жёлтого цвета, и стоял на улице Годовикова, но тоже, как и квартира, удобно был расположен — вовсе не на улице, такой, какой принято её представлять, с густой застройкой, где здание лепится к зданию, а улица тянется вдаль проезжей своею частью, тротуарами и фасадами с монотонными, прямоугольными рядами бесчисленных окон, уходящих в неясную, хрупкую и туманную перспективу, как и вся наша жизнь тогдашняя, как и судьбы наши, и дни, как и творчество наше, неизданное и не выставленное, увы, то есть прямо-таки в никуда, — нет, улица-то была, и адрес почтовый имелся, но улица эта была особенной, непростой, и в неё врывался простор в виде разнообразных деревьев, пустырей, заросших травой, или просто пустот меж строениями, заполненных всклянь, как аквариумы, влажным осенним воздухом, и ещё недавно по улице протекала река, но её спрятали почему-то в трубу, с глаз долой, под землю, поглубже, чтоб не мешала ездить к заводу «Калибр», или, может быть, по приказу городских суровых властей, чтобы меньше в Москве было рек, чтобы чаще грустил человек.

Дом стоял в стороне от шума, от проспекта Мира, но рядом с ним, чуть задвинутый за дома, населённые людом окрестным, и дворы с детворой в песочницах, и недолго было идти пешком до метро, и вокруг было несколько магазинов, и пивнушка, в округе известная, называемая одними «гайкой», видимо, из-за сходства павильона этого с гайкой, а другими всегда называемая только «шайбой», опять из-за сходства с шайбой, так что с названием путаница продолжалась, при мне, годами, а за этой пивнушкой была насыпь с травкою и цветочками, а под ней пролегали рельсы, и ходили по ним поезда.

Было близко до Марьиной Рощи, с деревянными, брёвнышко к брёвнышку, и окошко к окошку, с геранями, палисадниками и ставнями, закопчёнными временем, сонными, невысокими, кособокими, обжитыми давно, со скамеечками у дверей, с кривыми калитками и раскидистыми сиренями, переполненными обитателями восхитительными домишками, театрально провинциальными, обособленными, окраинными, позабытыми, позаброшенными до поры, когда их снесут.

Словом, всё было рядом, близко, но и осторонь, и не мешало никому из жителей дома, да и нам, ни жить потихоньку, ни работать, ни выпивать, ни общаться порой с гостями, ни смотреть на мир сквозь окно, сквозь стеклянную грань, за которой было видимо далеко, за которой тянулись в глубь этой осени, этой жизни, а потом уходили вдаль, многократно всеми воспеты, все четыре стороны света.

Мы с Довлатовым шли вдвоём, направляясь незнамо куда, чтобы просто идти вперёд и дышать отсыревшим воздухом по возможности глубоко, чтобы как-то, пусть и с усилием, хоть с трудом, но прийти в себя.

Приходить в себя — это непросто. Приходить в себя — это не шуточки. Приходить в себя — это наука. Да, наука. Достаточно сложная, чтобы слишком нам понимать, что легко мы теперь не отделаемся и на юморе мы не выедем, и тем более — на терпении, том, которого было вдосталь у любого из нас в былом и которое так срослось и со мной, и с Сергеем, и с каждым человеком, подчёркнуто творческим, да со всею нашей богемой, что казалось оно временами вроде кожи второй, хотя совершенно не защищало от вторжений извне, любых, и, конечно, не было панцирем, потому что любые удары и уколы легко проникали сквозь незри-

мую оболочку, норовя попасть не куда-нибудь, наобум, лишь бы ранить скорее, но поглубже, в самую душу. И душа — страдала тогда. Так и жили — среди страдания, в ожидании сострадания или просто вниманья. В нём пробуждалось и понимание — вместе с речью, с её огнём. Но прийти в себя — было трудно. Мы расплёскивали энергию безоглядно и широко. Не щадили себя? Наверное. Не наверное, а конечно. Было принято — так. Привыкли. Были просто — самими собой. Уж такими, как есть. Везде. И повсюду. В любое время. И тем более — посреди разгулявшегося бесчашья. Мы выкладывались порой до последнего. Разом. Полностью. Мы вбирали в себя любые проявления нашей жизни — с нескрываемым, жарким азартом. С ясным, гордым полубезумьем — тем, что было куда трезвее и оправданней, чем иная, даже нужная, в общем-то, трезвость, чем привычный чей-то расчёт. Жили — с риском. С вызовом даже. Всем. Всему. Ценились — поступки. Признавалась — лишь одарённость. Потому и была — озарённость. Всем, чему объяснения нет. Всем, в чём был — путеводный свет. С ним сроднились давно мы. С ним — каждый, вышней звездой храним, находил в себе силы: вспять — не идти, из бед — восставать, рваться — в даль, за которой — высь. Не случайно мы родились в нашей грустной державе. Здесь — каждый вырос. И сбылся — весь. Навсегда. Столь велик был жар пронизавшего всех горенья, что потомкам остался — в дар. Не случайно сие даренье.

Перед этим сомнительным утром, если это действительно утро, если так можно было назвать странный, брезжущий, грустный час до прихода реального утра, с пробуждением жизни вокруг, с оживлением крови в жилах, с просветлением ожидаемым непомерно

смурного сознания, в течение дня предыдущего, и вечера, вскоре пришедшего, и ночи, за ним наставшей, вплоть до рассвета, или же, что вернее, до убывания и ухода ночной темноты, нами, причём вдвоём, без ненужных нам собутыльников, не годящихся в собеседники, признаюсь я, как на духу, было выпито многовато.

Доказательством очевидным неумеренно долгой, обильной, затянувшейся ненароком нашей выпивки, с разговорами по душам, такими, которые не заменишь нынче ничем, оставались пустые бутылки, грудой сложенные на балконе, меж коробок и чемоданов, чтобы в комнате не мешали, где с укором напоминали о недавнем их содержимом, ставшем грустным воспоминанием о спиртном, которого нету, чтобы с толком опохмелиться и потом уж, слегка воспрянув, как придётся, но лучше — с выпивкой и закуской, в умеренных дозах, чтоб себя ощутить живыми, чтоб здоровье своё поправить, с Божьей помощью, разумеется, как-то дальше существовать.

Некоторое количество спиртного, жалкую частицу былой роскоши, по глотку вина, по глотку водки, всего-то, не больше, да и то с изрядным трудом, нацедили мы из выпитых накануне бутылок, смешали в стакане, разделили по-братски, выпили.

Но этого было мало. Настолько мало, что даже говорить об этом смешно. Разве это спасенье? Так, пустячок. А то и курьёз. Или даже недоразумение. Или выверт очередной окружающей нас действительности. Той, с которой, как ни крути, приходилось нам всем считаться. Той, с которой то и дело возникали у нас разногласия. Той, советской, заполонившей всё вокруг, весь мир законный. Той, с чьей жутью потусторонней наших судеб линии чёткие не желали соприкасаться, но, увы, в неё углублялись, чтобы там, в несусветной